

# Бледный ОГОНЬ

Это напомнило мне его курьезный рассказ мистеру Лэнгтону о непристойном поведении одного молодого человека из хорошей семьи: «Сударь, последний раз, что мне о нем говорили, он бегал по городу и стрелял кошек». А потом, в каком-то ласковом рассеянии, он вспомнил про своего любимца кота и сказал: «Но Ходжа никто не застрелит, — нет, нет, Ходжа никто не застрелит».

ДЖЕЙМС БОСВЕЛЬ  
«Жизнь Сэмюэля Джонсона»

# Предисловие

Написанная героической строфой поэма «Бледный огонь» — девятьсот девяносто девять строк, разделенных на четыре песни, — сочинена Джоном Фрэнсисом Шейдом (род. 5 июля 1898 г., ум. 21 июля 1959 г.) в течение последних двадцати дней его жизни в собственном его доме в Нью-Уасе, в штате Аппалачия, США. Рукопись, большей частью чистовой экземпляр, с которого совершенно точно отпечатан настоящий текст, состоит из восьмидесяти библиотечных карточек среднего формата, из коих на каждой Шейд употреблял розовую линию для заголовка (номер песни, дата), а на остальных четырнадцати голубых линиях тонким пером, мельчайшим, аккуратным, удивительно ясным почерком, выписывал текст поэмы, с пропуском одной линии в обозначение двойного интервала, всегда начиная новую карточку под начало каждой песни.

Короткая (166 строк) Песнь первая, со всеми ее забавными птицами и паргелиями\*, занимает трин-

\* «Ложное солнце» — светлое круглое пятно на небесном своде по одну или по обе стороны от солнечного диска.

дцать карточек. Ваша любимая Песнь вторая, а также Песнь третья, этот поразительный *tour de force*\*, одинаковы по длине (334 строки) и занимают по двадцать семь карточек каждая. Песнь четвертая совпадает по длине с первой и, так же как она, занимает тринадцать карточек, из коих четыре последние, использованные им в день смерти, принадлежат не к чистовому экземпляру, а к исправленному черновику.

Будучи человеком методичным, Джон Шейд обычно к полуночи переписывал очередную порцию завершенных строк, но даже если он иной раз, как я подозреваю, и переписывал их позднее заново, то помечал карточку (или карточки) не днем окончательной правки, а датой исправленного черновика или первого чистового экземпляра. Я хочу сказать, что он сохранял фактическую дату написания в предпочтении вариантам правки. Прямо напротив моей нынешней квартиры находится очень громкий увеселительный парк.

В результате мы располагаем полным календарем его работы. Песнь первая была начата в послеполуночные часы 2 июля и завершена 4 июля. Следующую песнь он начал в свой день рождения и закончил 11 июля. Еще одна неделя была посвящена Песни третьей. Песнь четвертая была начата 19 июля, и, как уже отмечено, последняя треть ее текста (строки 949–999) дошла до нас лишь в форме исправленного черновика. Этот отрывок, по виду чрезвычайно растрепанный, изобилующий опустошительными подчистками и стихийного масштаба вставками, не следует линиям карточек с той же педантичностью, что чистовой

\* Большое усилие; ловкий трюк (*фр.*).

экземпляр. В действительности же, как только вы погружаетесь в него и принуждаете себя открыть глаза в прозрачных глубинах под его возмущенной поверхностью, он оказывается изумительно точным. В нем нет ни единой неполной строки, ни одного сомнительного прочтения. Этого факта достаточно, чтобы показать, что обвинения, выдвинутые (24 июля 1959 г.) в газетном интервью одним из наших самозванных шейдистов — утверждавшим, *никогда не выдав рукописи поэмы*, что она «состоит из разрозненных набросков, из которых ни один не представляет точного текста», — есть злостная выдумка тех, кто желал бы не столько пожалеть о том, в каком состоянии работа великого поэта была прервана смертью, сколько подвергнуть хуле компетенцию, а может быть, и честность нынешнего редактора и комментатора.

Другое заявление, сделанное публично профессором Хёрли и его кликой, относится к структурным соображениям. Цитирую из того же интервью: «Никто не может сказать, какой длины предполагал сделать свою поэму Джон Шейд, но вовсе не исключено, что оставленное им есть лишь малая часть сочинения, видевшегося ему туманно, как бы сквозь стекло». Опять чепуха! Помимо сущего горна внутренней очевидности, звящего на протяжении всей Песни четвертой, существует свидетельство Сибиллы Шейд (в документе, датированном 25 июля 1959 г.), что ее муж «никогда не намеревался выйти за пределы четырех частей». Для него Третья песнь была предпоследней, и я лично слышал, как он говорил об этом во время прогулки на закате, когда, как бы думая вслух, он делал смотр трудам минувшего дня и жестикулировал в простительном самоодобре-

нии, меж тем как его сдержанный спутник безуспешно старался приноровить ритм своего долгоногого размашистого шага к порывистой дергающейся походке растрепанного старого поэта. Более того, я даже осмелюсь утверждать (пока наши тени продолжают прогулку без нас), что ему оставалось написать лишь *одну* строку поэмы (а именно стих 1000), которая была бы идентична первой строке и завершила бы структурную симметрию, с двумя одинаковой длины центральными частями, основательными и пространственными, образующими вместе с более короткими флангами пару крыл в пятьсот строк каждое, и будь она проклята, эта музыка. Зная комбинационную склонность ума Шейда и его тонкое чувство гармонического равновесия, я не могу себе представить, чтобы он намеревался искалечить грани своего кристалла, препятствуя его предсказуемому росту. И если бы и этого не было достаточно — а этого совершенно, совершенно достаточно, — я имел несравненную возможность услышать из собственных уст моего бедного друга вечером 21 июля, что труд его завершен — или почти завершен (смотри мое примечание к стиху 991).

Эта пачка из восьмидесяти карточек была скреплена резиновым кольцом, которое я теперь вновь благоговейно на них натягиваю, в последний раз просмотрев их драгоценное содержание. Другая, гораздо более тонкая стопка, состоящая из двенадцати карточек, которые были скреплены вместе и помещены в тот же бурый конверт, что и главная пачка, содержит несколько дополнительных двустихий, пролагающих свой краткий и несколько смазанный путь сквозь хаос первоначальных набросков. Шейд

держал за правило уничтожать черновики, как только у него отпадала в них нужда; я хорошо помню, как одним сияющим утром я видел с моего крыльца, как он сжег целую колоду их в бледном огне мусорной печи, перед которой он стоял, склонив голову, как официальный плакальщик на похоронах, среди подхватываемых ветром черных бабочек этого задворочного аутодафе. Он все же сохранил эти двенадцать карточек ради неиспользованных удач, сияющих из-под окалины исчерпанных черновиков. Возможно, что он смутно предполагал заменить некоторые места чистового экземпляра иными прелестными вариантами из своего запаса, или, что более вероятно, предпочтение, украдкой питаемое к тому или иному наброску, исключенному из соображений архитектоники или же потому, что это раздражало С., побудило его отложить запасные варианты до того времени, когда мраморная завершенность безупречной машинописи либо подтвердит их, либо заставит казаться самый изящный вариант неуклюжим и нечистым. А еще возможно, и да будет мне позволено добавить это со всей скромностью, что он намеревался испросить моего совета по прочтении поэмы мне, — это, я знаю, входило в его планы.

Эти отвергнутые разночтения читатель найдет в моих комментариях к поэме. На их место в тексте указывают или, по крайней мере, намекают черновики окончательных строк, находящихся в непосредственной близости. В некотором смысле многие из них обладают большей художественной и исторической ценностью, чем иные из лучших мест в конечном тексте. Здесь мне следует объяснить, каким образом я оказался редактором «Бледного огня».

Тотчас после смерти моего дорогого друга я убедил убитую горем вдову предусмотреть и дать категорический отпор коммерческим страстям и академическим интригам, которые не могли не разыграться вокруг рукописи ее мужа (переправленной мною в надежное место еще до того, как его тело упокоилось в могиле), подписав соглашение о том, что он передал рукопись мне; что я незамедлительно опубликую ее с моим комментарием в любом издательстве по моему выбору; что весь доход, за вычетом доли издателя, поступит ей; и что в день публикации рукопись будет передана в Библиотеку Конгресса на вечное хранение. Я предлагаю любому серьезно критику найти какую бы то ни было несправедливость в таком контракте. Тем не менее он был назван (бывшим адвокатом Шейда) «фантастическим месивом зла», меж тем как другое лицо (его бывший литературный агент) с издевкой интересовалось, почему это дрожащая подпись г-жи Шейд выведена «какими-то странными красными чернилами». Такие сердца и такие умы не в состоянии понять, что привязанность человека к шедевру может быть совершенно подавляющей, в особенности когда изнанка ткани восхищает созерцателя и единственного зачинателя, чье прошлое переплетается в ней с судьбой простодушного автора.

Как, кажется, упомянуто в моем последнем примечании к поэме, глубинная бомба смерти Шейда разворотила такие тайны и подняла со дна столько мертвой рыбы, что мне пришлось покинуть Нью-Уай вскоре после моей последней беседы с помещенным в заключение убийцей. Составление комментария пришлось отложить до тех пор, пока я не поды-



щу нового инкогнито в более спокойном окружении, но практические вопросы, относящиеся к поэме, требовали безотлагательного разрешения. Я полетел в Нью-Йорк, сделал фотокопию рукописи, договорился об условиях с одним из издателей Шейда и уже был на грани заключения сделки, когда, как бы вскользь, посреди необъятного заката (мы сидели в орехово-стеклянной келье в пятидесяти этажах над процессией скарабеев), мой собеседник заметил: «Вы будете рады узнать, доктор Кинбот, что профессор Имярек (один из членов Шейдовского комитета) согласился сотрудничать с нами в качестве консультанта по этому материалу».

«Радость», знаете ли, есть нечто чрезвычайно субъективное. Одна из наших глуповатых земблянских поговорок гласит: *радуется потерянная перчатка*. Я немедленно защелкнул замок моего портфеля и направился к другому издателю.

Вообразите мягкосердечного неуклюжего великана, вообразите историческую личность, для которой понятие о деньгах сводится к абстрактным миллиардам государственного долга; вообразите монарха в изгнании, не подозревающего о Голконде\*, скрытой в его запонках! Все это к тому — о, с преувеличением, — что я самый непрактичный человек в мире. Отношения между таким человеком и старой лисой книгопечатного дела бывают сначала трогательно беззаботные и приятельские, исполненные дружелюбного поддразнивания и знаков взаимной приязни. У меня нет оснований полагать, что

\* Кладёзь сокровищ (по названию древнего индийского города, вблизи которого находились алмазные копи).

какая-либо случайность помешает подобным первоначальным отношениям с добрым старым Фрэнком, моим нынешним издателем, остаться такими.

Фрэнк подтвердил благополучное возвращение корректуры, которую он высылал мне сюда, и попросил упомянуть в моем предисловии — и я охотно это делаю, — что ответственность за все ошибки в комментариях лежит исключительно на мне. Вставить перед профессиональный. Профессиональный корректор внимательно сверил с фотокопией манускрипта печатный текст поэмы и нашел в нем несколько пропущенных мною пустяковых опечаток; это была единственная посторонняя помощь, к которой мне пришлось прибегнуть. Излишне говорить о том, как уповал я на получение от Сибиллы Шейд массы биографических данных, но она, к сожалению, покинула Нью-Уай еще прежде меня и в настоящее время живет у родственников в Квебеке. Мы, разумеется, могли бы вести плодотворнейшую переписку, но от господ шейдистов так просто не отделаешься. Они стаями ринулись в Канаду и набросились на бедную женщину, как только я потерял контакт с ней и с ее переменчивыми настроениями. Вместо того чтобы ответить на мое месячной давности письмо из моей сидарнской пещеры, где перечислялись некоторые из самых важных вопросов, в том числе вопрос о настоящем имени «Джима Коутса» и т. д., она внезапно ошарашила меня телеграммой с просьбой принять профессора Х. (!) и профессора К. (!! ) в качестве соредакторов поэмы ее мужа. Как глубоко это поразило и уязвило меня! Естественно, это исключило всякую возможность сотрудничества с введенной в заблуждение вдовой моего друга.

А он и впрямь был моим другом! Согласно календарю, мы были знакомы лишь несколько месяцев, но существует вид дружбы со своей собственной внутренней длительностью, с собственными зонами прозрачного времени, не зависящими от вертящейся зловредной музыки. Я никогда не забуду возбуждения, охватившего меня при известии, как упомянуто в одном из примечаний, до которого читатель дойдет, о том, что пригородный дом (снятый для меня у судьи Гольдсворта, отбывшего в Англию на отпускной год), в который я въехал 5 февраля 1959 года, расположен рядом с домом знаменитого американского поэта, чьи стихи я пытался переложить на земблянский язык два десятилетия назад! Помимо этого славного соседства, гольдсвортовское шато, как я вскоре понял, не отличалось особыми достоинствами. Система отопления представляла из себя фарс, поскольку зависела от вентиляционных отдушин в полу, откуда тепловатые истечения урчащей и стонущей топки подавались в комнаты со слабостью последнего вздоха умирающего. Залепив выходные отверстия наверху, я пытался направить побольше энергии в гостиную, но ее климат оказался неизлечимо подорванным, так как между ней и арктическими областями не было ничего, кроме тонкой входной двери, без какого-либо признака прихожей — потому ли, что дом этот был построен в разгар лета наивным поселенцем, не имевшим понятия о том, какую зиму припас для него Нью-Уай, или в силу некой старозаветной чопорности, требовавшей, чтобы случайный гость мог через открытую дверь убедиться, что в гостиной не происходит ничего предосудительного.